

Юлия Шаврина

ПОКА Я ПОМНЮ



Юлия Шаврина

Пока я помню

«Автор»

2026

Шаврина Ю.

Пока я помню / Ю. Шаврина — «Автор», 2026

Мне сегодня приснилось детство. С этой фразы началась книга. С неё же пусть и начнётся ваше чтение. Только уговор: мы не будем зажигать яркий свет. Оставим только настольную лампу и тот желтоватый круг, который она роняет на страницы. Всё самое важное происходит в полумраке. Эту книгу я не сочиняла. Я её вспомнила. А память — странная штука: она не держит дат и не выстраивает сюжет. Я собрала эти осколки. Разложила перед собой, как «секретики» под стёклышком — помните? Приподнимешь листочек, а там фантик, цветок, пуговица. Никому не нужные, но бесценные. Здесь будет лес. Будет море. Будет городской двор с разбитой песочницей. Будет немного страха — ровно столько, чтобы сердце билось чаще. И немного стыда — того самого, липкого, от которого хочется провалиться сквозь землю. Заходите. Только тихо. Там, кажется, ещё спит щенок за креслом.

© Шаврина Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

...	5
Кусочек первый	6
Про деревню	8
Про собаку и деда	10
Про детей, взрослых и Бога	12
Про комаров и армян	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Пока я помню

...

Мне сегодня приснилось детство. С этой фразы началась книга. С неё же пусть и начнётся ваше чтение. Только уговор: мы не будем зажигать яркий свет. Оставим только настольную лампу и тот желтоватый круг, который она роняет на страницы. Всё самое важное происходит в полумраке.

Эту книгу я не сочиняла. Я её вспомнила. А память — странная штука: она не держит дат и не выстраивает сюжет. Она держит тепло бидона с парным молоком, мягкость мха, скрип половиц. Держит голос деда, который зовёт меня так, как уже никто никогда не позовёт. Запах бабушкиных платьев и старого театра. Держит собачий язык на ладони и нежность объятий мамы.

Я собрала эти осколки. Разложила перед собой, как «секретики» под стёклышком — помните? Приподнимешь листочек, а там фантик, цветок, пуговица. Никому не нужные, но бесценные.

Здесь будет лес. Будет море. Будет городской двор с разбитой песочницей. Будет немного страха — ровно столько, чтобы сердце билось чаще. И немного стыда — того самого, липкого, от которого хочется провалиться сквозь землю.

Заходите. Только тихо. Там, кажется, ещё спит щенок за креслом.

Кусочек первый

Мне сегодня приснилось детство. Тёплое, со вкусом парного молока и земляники. Лето в глухой деревне в Рязанской области, куда нас, детей, отправляли на каникулы.

Деревенька — двадцать деревянных домов, и со всех сторон — леса. И леса эти назывались забавно, как комнаты в большой квартире: Березнячок, Задки, Вырубки.

Бабушка только голову из окна высунет:

— Ты куда понеслась?

— На Задки!

— Смотри мне... если первый гриб мухомор попадётся, сразу домой поворачивай.

— Это ещё почему?

— А это Леший дорогу закрыл. Значит, не рад тебе.

— А если не мухомор?

— Тогда ходи. Только не шляйся до темноты.

— Ба!

— Чего «ба»? Грибов набери.

На Задках было опасно — топкие болота и леший, который путает людей. Заблудишься — и всё, помирай.

Зато там белые грибы и много ягод. И главное — мох. Мох я обожаю, поэтому спешу именно туда. Он мягче всякого ковра — высокий, плотный. Ляжешь ничком в него, только лениво хватаешь рукой чернику и отправляешь в рот. Руки чёрные, мокрые — и нега по телу разливается, тягучая, как сладкий сироп.

А потом перевернёшься на спину и смотришь в небо. Верхушки огромных елей скрипят и раскачиваются на ветру. И облака плывут, и солнце щекочет глаза. Прищуришься — оно расплывается в длинную жёлтую линию. Я лежу и думаю: вот так, наверное, видит мир человек из могилы. И в этой мысли нет страха — только удивление и покой, будто всё так и должно быть.

Потом встаю и иду по грибы. За грибами я слежу. Их там в избытке. Одни собираю — бабушке на суп или совсем без пользы — на засолить. Другие, самые красивые, оставляю жить. Это моя тайна, прикрытая мохнатой веткой.

Возвращаюсь затемно. Бабушка стоит у калитки, руки в боки.

— Явилась, путешественница. Я уж думала, леший тебя в жёны взял.

— Не взял, — говорю, — я ему гриб оставила.

— Подкупила, значит. Мой руки, садись ужинать.

— Ба, а леший — он какой?

— А кто ж его знает. Может, как дед наш, только мхом обросший.

Я люблю семьи подосиновиков. Чтобы мама-гриб, папа-гриб и обязательно малыши. Самые маленькие, с красными шапочками, размером с мизинчик. Я возвращаюсь к ним каждый день, смотрю, как дети растут, а родители стареют. Снимаю с их тел улиток, норových откусить кусочек, прикрываю травой, чтобы никто не нашёл.

Хотя кому там находить?

На всю деревню пять семей. Настоящих, деревенских. Они особенные. Крепкие, прямые, бесстрашные. Женщины в платках, мужчины пахнут папиросами.

Остальные — так, дачники. Толком ничего не знают и не умеют. Копшатся в огородах, смотрят чёрно-белый телевизор. И всё у них какое-то временное, невзаправдашнее.

То ли дело у семьи Титовых. Собака злая Найда на цепи — попробуй подойди. Дом из самых пахнущих брёвен, огороды — ого-го, края не видно. Корова. Очень строгая корова. Сама домой приходит. Даёт столько молока, что вся деревня напивается. И молоко у неё осо-

бенное. Честное. Не то что в магазине прозрачное, будто из-под крана. Несёшь это молоко домой, его тепло через бидон можно пощупать. Налил кружку, отрезал большим ножом кусок чёрного хлеба — и сидишь, пьёшь. Неспешно. Молоко густое, живое. Им наедаешься.

Вот бы ещё сладкого. Конфет! Лучше б шоколадных... Таких нет, но есть печенье. Оно в деревянном буфете с резными скрипучими дверками. Но его мало, бережно надо есть. И варенье. Его можно намазать на хлеб и уплетать с чаем. Настоящее блаженство.

Варенье я уважаю не только за вкус — за труд. Особенно вишнёвое. Сначала тащишь лестницу, залазаешь с привязанным к поясу бидоном и тянешься к ягодам. Упасть не страшно, страшно схватить вишню не так и раздавить пальцами. Сок от неё по запястьям течёт словно кровь. А потом надо косточки вынуть из каждой ягоды. Увидишь полные вёдра вишни — хочется ныть. Но мама говорит: зимой скажешь себе спасибо. Мама врать не станет.

Хотя вишня ещё ничего. Вот попробуй в колючий куст крыжовника залезть — руки царапаешь. А потом хвостики обрезай, да каждую ягодку иголкой протыкай.

Зато пенки от варенья... быстрая награда. Не надо зимы ждать. Вы же ели пенки?

Ставит бабушка на газ огромный таз. В нём просто ягоды и сахар. И начинается чудо. Мир полон чудес, но это чудо — всем чудам чудо. А у чуда главное что? Результат. Пенки вкуснее варенья, а значит, их и меньше. Мир взрослых так устроен: что вкуснее — того обязательно меньше.

Про деревню

Деревенька называлась Клин. Вклинилась она между дремучими лесами и торфяными болотами Мещеры.

Добраться до деревни с детьми, вещами и продуктами было непросто, поэтому ездили туда всего два-три раза за лето — и готовились заранее.

Первый — в конце мая, когда зелёный лист в Москве переставал пахнуть. На белой машине «Запорожец», с перевязанными крепкой верёвкой сумками на крыше, с четырьмя пассажирами и собакой в ногах.

Вещей много — словно всё это отправляли на дачу доживать: кастрюли, одежду, книжки. В багажник, бережно застеленный одеялом, складывалось самое ценное.

Папа был за рулём. Это было очень ответственно и почётно. Его роль была настолько высока, что остальные даже немножко сжимались рядом. Рулил он жёстко, иногда резко оставившаяся у обочины — кого-то обязательно тошнило.

Всю остальную дорогу я мечтала, глядя в окно. За эти четыре часа мир казался огромным. Мелькали окна в домах, люди на тротуарах, потом шоссе виляло через маленькие городки. Они были похожи на Москву, но что-то сразу выдавало — не она.

Выбраться из города было самым неприятным. Жара и особенно светофоры — их точно придумали несоветские люди, чтобы детей тошнило на торможении и машины сходили с дистанции. Потом плотная вереница других автомобилей и страшно-сочувственное слово папы «закипел», сопровождаемое кивком головы в сторону остановившейся машины. Она и правда парила, будто чайник. Зачем разезжать на чайниках по дорогам?

Сквозь шум раскалённого мотора я слушала жужжание разговоров взрослых и ждала заветного слова — Спас-Клепики.

Это было название точки на краю света и означало, что мы скинем скорость и продолжим свой путь без асфальта. А значит, совсем скоро прибудем на место и откроем свой пахнувший сыростью дом большими ключами.

К этому моменту терпение заканчивалось не только у меня, но и у взрослых. Мне то и дело приказывали закрыть окно, через которое меня «точно продует», хотя только оно и позволяло мне выжить. Собака то садилась, то ложилась, то вставала, отрывисто дыша и поливая меня горячей слюной. Я не ругала её. Мы были заодно. Мы мучились и желали свободы.

Последний участок дороги без самой дороги был самым весёлым и захватывающим. Окна наконец разрешали открыть, в них залетали десятки оводов и жаркий летний воздух.

Три километра по полю, изрезанному следами тракторов, дырами обвалившейся земли и великолепными огромными лужами. Лужами — идеальными, чтобы разогнаться на велосипеде, поднять ноги и не свалиться. Брызги дугой — и радость.

Но взрослые только напряжённо молчали, глядя не мигая в лобовое стекло. Изредка дед зло произносил короткие и очень стыдные слова, а бабушка охала, когда машина черпала брюхом землю.

Потом наконец мы застревали напрочь, и пассажиров выгоняли погулять.

— Ну что, застряли? — радостно спрашиваю я.

— Застряли, — вздыхает бабушка.

— Ура!

Это была прекрасная возможность пробежаться по высокой траве, но мы сочувственно собирались в кружок и наблюдали за тем, как под колёса засовывают ветки в самую сочную грязь. А если везло, то даже подталкивали машину сзади и получали свежую порцию той самой грязи из-под буксующих колёс.

Никто не смеялся. Взрослые — странные люди. Они совсем не умеют получать удовольствие от таких простых вещей.

Потом приезжал тракторист. Он был небритый, худой и страшный. Он говорил нараспев, сплёвывал на землю, командовал, куда привязывать трос, и точно был здесь главным. За то, что он был главным, он брал бутылку водки у бабушки. Она всегда гордилась тем, что запасла её заранее.

Однажды, по дороге, совсем близко к деревне, из леса выбежала лиса. Она посмотрела на нас внимательно и печально. Облезлая, светло рыжая, совсем не такая, как в мультиках. «Наверно, она болеет», — подумала я.

Кроме лис, в лесу водилось много живности. Кабаны то и дело приходили к дому и подрывали деревья. Деревенские пугали: самое страшное — встретить секача, он точно клыками «убьёт насмерть». Но что точно делать, если такого секача всё же встретишь, они не говорили. Но я и не допытывалась. Во-первых, никого ещё не убило, а если всё же секач — значит, всё равно умрёшь насмерть. Без вариантов.

И вообще, я ничего не боялась. Ни заблудиться в дремучих лесах, ни залезть в вонючую медвежью берлогу, ни забраться на высокое дерево. И даже лису, что перекусала и перезаражала чумкой деревенских собак, тоже не боялась. Просто понимала: это та самая лиса у дороги. Облезлая и больная. С грустными глазами. Очумевшая от одиночества.

Про собаку и деда

Была у меня собака колли. Правда, сначала мне сказали, что она не моя, а сестры Наташи. Не верили, наверное, что и в восемь лет можно стать настоящей хозяйкой.

Но я-то знала, что она моя-моя. Потому что мама именно мне обещала её купить, успокаивая слёзы после книги про Белого Бима. Так и сказала: не плачь, Юля, давай купим тебе собаку, и ты сделаешь её счастливой. Может, правда, не совсем так сказала, но это уже неважно. Я запомнила именно так.

Принесли щенка девятого мая. Неожиданно принесли. Знаете, как взрослые умеют до слёз детей доводить. Только дай повод.

Слёзы были радостные, со всхлипываниями и улыбкой до ушей. Щеночек маленький, пушистый. Чёрный мокрый нос и толстые лапы, что разъезжаются на паркете. Игрушечный щенок, как из «Детского мира». Из тех, при виде которых губы сами складываются в трубочку, а слова почему-то коверкаются: кукуй милаха.

Щенок тут же надул лужу, и я гордо бросилась её убирать. Без брезгливости! Собака-то моя, говорю же. А потом он забрался за кресло, наплевав на моё почти невыносимое желание поиграть ещё.

Дома были родные.

Дед — в пиджаке с медалями ко Дню Победы, дядя и тётя, сёстры и особенно был брат. Брат вечно вытворял что-то дурацкое. Вот и сейчас — напялил дедов пиджак и давай отжиматься, греметь. Мол, смотрите, какой я сильный.

Ну и получил. За то, что чуть мою собаку не разбудил. За свою собаку я все медали оторву на раз-два.

Стали выбирать имя. Нужно было на букву «Л» — так требовали правила для соблюдения родословной. Конечно, всем сразу имя Лесси на ум пришло. Но только не мне. Я была категорически не согласна с такой банальностью.

— Как собак называют? — спросила я у мамы.

— Можно взять первые слоги от имени родителей, — сказала она и полезла в родословную.

А меня уже осенило.

— Лави! Лави зовут нашу собаку.

— Что за имя такое дурацкое?

— Ну как же, — говорю. — ЛАриса и ВИталий. Первые слоги.

Все посмеялись, покрутили у виска и твёрдо сказали: ни за что и никогда!

Так мою собаку стали звать Лави.

Лави тоже любила уезжать в деревню. Ждала и мечтала. Потому что там гуляешь целый день и можно лаять на всех проходящих мимо без зазрения совести. Мало того, в деревенской жизни это даже приветствуется. Цивилизация!

Особенно Лави ждала встречи с мопедами. Её собачье сердце разрывалось от одной мысли, что можно прокусить им колёса. Более мерзких созданий на свете для неё не существовало. Ну, только если голуби.

А вот с курицами она дружила. Не гоняла их по двору и получала за это взаимную благодарность и уважение. Курицы склёвывали комаров с её длинного носа. Тот самый случай, когда и волк сыт, и куры целы. Или наоборот.

Лави любила лес, так же как я. Ходила с нами по грибы ранним туманным утром и пересчитывала разбредаящихся грибников — всех без остановки, перебегая от одного к другому. Умная собака. Моя.

Я учила её искать грибы. Нашла — лай! Но ей было не до грибов. Ей за бестолковыми людьми в лесу следить надо. Вот-вот потеряются.

Лави особенно любила нашего деда. Она просто тонула в этой любви. А дед любил её, называл Лаврентией и каждый раз, когда заезжали к нему домой, передавал гостинец, завернутый в газетку, — срезанные куски мороженого мяса. Когда ту газету приносили Лави, она ликовала. И не в мясе было дело. Она радовалась дедушкиному вниманию. Только унюхав его запах, хвост начинал вилять с такой скоростью, что можно было полы полировать.

И в деревне Лави всегда ждала приезда деда. Мы все ждали. Что приедет он — крепкий, быстрый. Зайдёт, как всегда, с огромным рюкзаком. И ещё по тяжёлой сумке в каждой руке. Весь мокрый от пота, горячий. Все охнут и побегут на помощь — этот рюкзак стаскивать.

Он улыбается, приговаривает что-то, обнимает нас. Скорее колодезной воды напиться! Она здесь сладкая и ледяная. Дед её очень любит. Умоется, поест и слушает наши рассказы.

Мы готовились к его приезду. Никогда не знали, когда появится, но все равно готовились. Стихи придумывали, сценки, песенки. Ждали его неповторимых блинов на завтрак. Он пёк их так мастерски — ажурными, тонкими. Переворачивал прямо пальцами и сдабривал сливочным маслом с сахаром.

Вот, дедуля, молодец,
Что приехал наконец!
Есть хотим твои блины
Они очень нам вкусны.

Слушает и улыбается. Ущипнёт ещё за щеку. Зовёт нас своими выдуманными именами. Не Наташа — Тотока. Не Катя — Катонька. Не Лёша — Лёсика. А меня Метела-Пела называл. Спрашиваю:

— Ну почему, дед?!

А он говорит:

— Очень ты хорошо пела маленькая: «Метела пела песенку, спи, ёлочка, бай-бай».

Я уже не помню, как я пела. Но помню, что он так говорил. И этого почему-то достаточно.

Так до самой своей смерти нас и называл. Нам было уже по тридцать, а мы все равно оставались Метела-Пелами и Тотоками.

Энергия его могла электростанцию питать. И никто не верил, что утихнет и уйдёт.

Иногда я пытаюсь вспомнить его голос — и не получается. Он ускользает. Остаются только обрывки. Но стоит чуть дольше подержать это в голове — и он снова входит в дом. Ставит сумки. Улыбается. Я вижу это ясно. Даже слишком ясно. Как будто это не было — а есть.

И всплывает в памяти один летний день.

Он приезжает — как всегда, с рюкзаком, килограммов на сорок, и ещё с огромным арбузом. Невиданное чудо — арбуз. Весь день добирался: автобус, метро, электричка, снова автобус, потом пешком — шесть километров по жаре. И всё это — с арбузом.

Мы крутимся вокруг него, не даём пройти. Если бы у нас были хвосты, мы бы тоже так виляли, как Лави. Было за что. Любимый дед.

Про детей, взрослых и Бога

Утро в деревне почти всегда начиналось одинаково. С рассветом бабушка и дедушка поднимались — им не спалось. Тогда я не знала, что всем стареньким не спится, думала, это только мои такие беспокойные.

Скрип кровати, глухое кряхтение, шарканье тапочек, запах каши. А часов с девяти они настойчиво начинали ходить по комнате и ворчать: сколько можно лениться, время уже обед накрывать, а мы всё спим.

Мы держались как могли. Накрывали голову тяжёлым ватным одеялом, терпели грохот посуды и вёдер, настезь открытые окна, слова про лентяев и про то, кому подаёт бог с утра. Терпели и пытались досыпать.

К десяти вставали. Выходили во двор, к большому стальному умывальнику. Над умывальником — отколотый кусок зеркала. В нём, сквозь капли воды, на нас смотрели наши же лохматые головы.

Отбиваясь от назойливых комаров, умывались ледяной водой, наспех чистили зубы мятым зубным порошком и возвращались в дом.

На столе стояла кастрюля с кашей, укутанная полотенцем и тяжёлой серой телогрейкой.

Каша надо было класть много. Бабушка следила за этим строго. И после того, как положил свой максимум, добавляла ещё по ложке с горкой — уверенная, что мы просто не умеем оценить свои силы.

Сверху полагался большой кусок сливочного масла. Он расплывался противной жёлтой лужицей прямо посреди тарелки. Можно было махать руками, морщиться и говорить «бе-е-е» — это не считалось возражением. В лучшем случае протесты затыкались куском хлеба, который тоже нужно было съесть.

Каша «дружба» шла на ура. Геркулес не любили. Манку — ненавидели. В ней прятались гадкие белые комочки. Значит, нужно осторожно просеивать, прежде чем погрузить ложку в рот. И с кислыми лицами мы слушали о том, как полезна манка детям, размазывая её по тарелке. Но чем дольше мы ковырялись, тем хуже становилось. Манка покрывалась отвратительной плёнкой.

Посуду мыть я не любила. Лучше уж вытирать полотенцем, застилать кровать или подметать полы.

Для мытья — два тазика. Нагреть воды и очень неприятной, почему-то всегда древней тряпкой начинать тереть тарелки с мылом в первом тазу. Во втором водой ледяной споласкивать. В ледяной воде стыли пальцы. Если попадалась кастрюля — становилось совсем плохо. Лучше б мы голодали, думала я, оттирая противную прилипшую крупу.

Дальше было то, что сделало из обезьяны человека. Труд. Как минимум одна грядка в день — освободить от сорняков, разрыхлить землю.

Грядки были огромные, как могилы жирафов. Сорняки на них росли по какому-то неписаному закону природы, в три раза быстрее, чем то, ради чего грядка сделана. Сами сорняки бывали разные. С невинными маленькими листиками, легко срываемые одним движением, и вредные, колючие, с корнем, похожим на морковку, словно пронзающим землю насквозь. Если схалтурить и обрубить корень, дело пошло бы быстрее. Но совесть не позволяла так поступить. Надо было копать до победного конца. Пальцы становились чёрными, земля забивалась под ногти. В этот момент я представляла себя крепостной. Хозяйева мои строги, но за работу кормят и позволяют пожить в ветхом сарайчике. А куда мне деваться — я же сирота, меня защитить некому.

И запевала песню.

По диким степям Забайкалья,

Где золото роют в горах...

Песня была бесконечная, но я знала её не всю, всего десять куплетов. Сбивалась и путалась на фразе «отец мой давно уж в могиле, сырою землёю покрыт». Но всё равно получалось трагически. Я была довольна своей игрой и не замечала, как грядка подходила к концу.

Сделал дело — гуляй смело. Иди на все четыре стороны. Можно пойти с ребятами поиграть. В штандр или прятки. Но ребята на меня обижены.

Вчера вместе скучали у скамейки. Болтали ни о чём. Я возьми да и ляпни:

— Хотите щавеля?

— Откуда щавель, нет его уже.

— А я знаю лесной щавель, он полезнее обычного. В нём витамины, которые в арбузах. И вкусный такой же.

— Покажи!

Чего сболтнула? Но деваться некуда — сказал «а», говори «б».

Нашла растение, похожее на щавель, научила рвать правильно, чтоб витамины не расплескать. Они осторожно жевали.

— Невкусно, — один говорит.

— Зато полезно, — возражает другой.

— И правда, на арбуз похоже, — добавляет третий.

Я замерла и смотрю, как, морщась, мои друзья жадно потребляют арбузные лесные витамины.

— Хватит, — говорю. — Много витаминов тоже вредно.

Тогда я не знала, что их бабушки довольно быстро смекнут, что причина поноса их детей таится во мне.

Убежать от злой бабушки с крапивой легко. Но всё же неприятно.

От бабушек с крапивой мы бегали регулярно. Даже от бабушек с вилами.

С вилами была Прасковья.

Худая, ссохшаяся, жила одна. Иногда к ней навещался сын Василь. Он был средних лет, сильно пьющий дядька с дрожащими руками.

В их доме висела картина его авторства. Трое мужчин сидели на траве и хвастались своей добычей от охоты. Картина была странная, что-то в ней было не так, криво, что ли. Но смотреть на неё было интересно. Через несколько лет я увидела почти такую же в музее и вздрогнула.

По словам Прасковьи, Василь был талантливый художник. Но судьба у него была нелёгкая. Поэтому он начал пить водку. Так все делают.

В углу ещё висели иконы. Горела лампадка. Прасковья была очень набожной. Эта набожность и вышла нам вилами.

Стали мы ей вопросы про Бога задавать. Откуда, мол, она знает, что Бог есть. Где он живёт? Отвечала что-то, объясняла. Но у нас вопрос-козырь в рукаве: а почему же тогда его космонавты не видели? — гордо спросили мы. За находчивость нас не похвалили, выгнали взашей, вилами, безбожников и иродов расклятуших.

Жена Василя тоже пила. И пьяная с крыльца кричала: а ну-ка, деточка, иди сюда! И давала конфеты. Потом забывала и звала снова. Хорошая была женщина. И конфеты у неё были вкусные.

Однажды она пришла к нам в гости на день рождения бабушки, пришла с бутылкой наливки и кульком конфет — нам, детям. Конфеты мы сразу съели, а наливку выпили взрослые.

Они сидели за столом долго. Сначала пели песни — громко, нестройно, но очень душевно. Потом начали вспоминать что-то своё, взрослое, непонятное. А потом затихли. Мы с братьями и сёстрами сидели в кухне, за шторками, и ждали. Потому что на кухне, на нижней

полке старого буфета, стоял торт. Только про него все забыли — может из-за песен, а может из-за наливки.

И вот тишина. Только храп из комнаты. Мы переглянулись.

— Давайте? — шепчет сестра.

— Давайте, — так же шёпотом отвечаю я.

Крадёмся к буфету. Половицы скрипят, и мы замираем после каждого шага. Прислушиваемся — храп не прекращается. Можно идти дальше. Я открываю буфет, и мы извлекаем торт на свет. Он красивый: кремово-белый, с розочками, шоколадная крошка по бокам.

Обсуждаем, как резать. На шесть частей? На восемь? А может, просто ложками из коробки? Спорим шёпотом, тычем пальцами в крем, слизываем.

И вдруг — голос из комнаты:

— Сделайте потише!

Мы переглянулись. Телевизора нет, радио молчит, мы вообще шёпотом. Кто шумит-то? Обсуждаем дальше, уже чуть громче. И снова:

— Сделайте потише!

Тут мы прыснули со смеха. Прямо в ладошки, чтобы не разбудить. И не заметили, как она встала. Идёт на нас с кулаками. Пошатывается, но лицо у неё серьёзное, даже грозное.

Кулаки — не конфеты. Сестра схватила коробку с тортом и бегом из дома. И чтобы не перевернуть, пристроила ее себе на голову. Бежим, а она впереди, с тортом на голове, как официантка в дорогом ресторане, только босиком.

Дальше — лестница. Деревянные ступеньки, крашенные и скользкие, как лёд. Сестра делает шаг — и нога уходит вперёд. Она не падает, нет. Она садится на попу и едет. Вниз. С тортом на голове. Ступенька за ступенькой — тук-тук-тук. А торт держится. Качается, но держится.

Мы замерли. Смотрим. А она уже внизу, и торт на голове — немножко кривой, но цел.

Тут нас и накрыло. Смеялись до икоты, до слёз, до того, что животы заболели. Убежали далеко, за огород, спрятались в малиннике и ели этот торт прямо руками, выковыривая розочки и слизывая крем с пальцев. Самый вкусный торт в моей жизни. Немножко мятый, с привкусом травы и приключений, но самый вкусный.

Потом вернулись домой, тихие, как мыши. Никто ничего не вспомнил. Только бабушка утром удивилась: куда торт делся? А мы молчали.

Хотя нет, телевизор был. Стоял на столике в комнате, накрытый салфеткой. Только не показывал ничего. Звук был, а картинки нет. И работало две программы. Но только чтобы их переключить, надо было не просто ручку повернуть, но и антенну за окном.

Бабушка любила слёзные сериалы про Изауру или Мою вторую маму. Ставила стул почти вплотную к телевизору и слушала. Даже не шевелилась, так внимательно. И потом делилась с нами, какие люди на земле бывают. Какие подлецы и мучители. Даже в войну у нас таких не было. Страшно жить, дети, страшно. Мы кивали понимающе. Может и правда - страшно.

Про комаров и армян

Деревня наша стояла на болотах. В школе нас учили, что болото — это водоём. Ну, или что-то жидкое. А в жизни всё оказалось иначе. Уже тогда закралось сомнение, что в школе нам точно что-то не договаривают.

Болота наши имели свойство гореть. В моей голове это никак не складывалось. Вернее, ту часть, когда машина проехать после дождя не может и вязнет, я понимала и принимала. А вот почему поднимался едкий дым, словно туман, и окутывал деревню, не понимала. Что за водоём такой горючий? Керосин, что ли, там плавает?

В общем, болота были странные и вообще в мире лишние. Какая от них польза? Хлюпают под ногами — и всё. Рыбы в них не живут, одни комары.

А комары знатные. Побольше городских мух. Прямо истребители, а не комары. Вот говорят «туча комаров». Думаете, преувеличивают? Нет, правда тучей летают, чёрной тучей. С городскими хлюпкими комариками, поющими тонкими голосами, не сравнить. Деревенский комар летит — его за версту слышно. У него голос, как у Магомаева.

Однако здешние деревенские комары глупые. Я бы даже сказала, тупые. А может, ещё и близорукие. Летит такой самолёт и врежется со всей дури тебе в лоб.

Правда, ещё они доверчивые. Сядет, присосётся, ты его за ногу дёргаешь, типа — отстань! А он с места не двигается. Верит в лучшее, что не прищёпнешь.

Особенно много комаров в июне. Можно вечером руку из окна высунуть, зажмуриться и посчитать до десяти. Открываешь глаза, а на руке уже несколько сидит. Кровь пьют.

В общем, сладу с ними нет. Вечером вообще толком не погуляешь. Ходишь с веткой берёзы, отмахиваешься как сумасшедший. А толку?! Ещё, как назло, комары любят тёмное. А у нас какая одежда в деревне? Треники да олимпийки чёрные. Иначе, бабушка говорит, не стираешься.

Думала я, думала, как с комарами бороться. Веткой их не возьмёшь, марлей, что на окна прибивают — тоже. Ну, раз воевать бесполезно, буду договариваться.

И решила я с комарами каждое лето подписывать договор.

Вырву лист из тетрадки, оближу грифель карандаша и пишу. «Договор. Обязуюсь не убивать комаров этим летом. Комары обязуются не кусать меня. Подпись». Потом жду, когда какой-нибудь гигант-кровопийца укусит меня, наполнится моей кровью до отвала. Аккуратно снимаю его и — бам! — размазываю на листе. Скрепили, так сказать, договорённости. Кровью.

Я, конечно, взрослым рассказывала, почему меня комары почти не кусают даже в лесу, но, по-моему, они не верили. Так и ходили покусанными и недоверчивыми.

Говорят, комары чью-то кровь любят, а чья-то им невкусная. Может, от национальности зависит?

Иностранцев в деревне днём с огнём. Одни свои, родные лица. Вон, сплошные привычные носы-картошки. Только однажды приехал к нам в деревню парень по имени Маис.

Парень этот взялся не просто так. Он из Москвы приехал. Даже, честно сказать, из моей квартиры. Хотя сам был из города Еревана. Расскажу по порядку.

Однажды летом мы семьёй поехали на озеро Севан. Поселили нас в каком-то пансионате, в маленькие картонные домики. Родители, наверно, надеялись, что мы будем по красивым горам гулять и в холодном озере купаться. Да мы б с удовольствием, но погода тем летом была прохладная. Ночью снег шёл, а днём дождь. И было очень нам холодно и скучно в своих домиках сидеть.

Тогда папа привёл какого-то человека по имени Гарик. У него был оранжевый «Москвич», пожарная форма и огромная семья в Ереване. Гарик обещал нам этот самый Ереван показать.

Ереван я не помню. Но помню, что каждый день после этой встречи мы садились в его «Москвич» и куда-то ехали. Это «куда-то» всегда была квартира или частный дом. Там нас кормили, поили и веселили. Одна женщина сажала меня на колени, запихивала в рот огромные куски помидора и приговаривала: «Ешь, моя сладкая. Ешь, моя кошка». Мне было немножко страшно, но приятно.

Папа возил с собой коньяк, чтобы всем хватило и чтобы было весело. И мы даже научились чуть-чуть говорить по-армянски: «барев» и «шноракалютюн». Смешной язык у них.

Потом мы уехали. А уже через неделю этот самый Гарик стоял на пороге нашего дома. Папа очень обрадовался! Мама тоже, по-моему, немножко радовалась, особенно когда стали приезжать целыми семьями.

Мы с сестрой радовались сильно меньше. У нас отбирали недостающие гостям подушки и одеяла и переселяли спать на пол в родительской спальне.

Зато одна армянка нам гадала по руке. Она была черноглазая и черноволосая. И одежда у неё была чёрная. И даже губы — как будто в их красный цвет капнули чёрной краски. Такая точно должна была знать будущее!

Потом как-то утром в дверь позвонили. На пороге стоял парень. Кудрявый, высокий и с большим носом. Он сказал, что он Маис. Что он брат племянника дяди Гарика. Или племянник брата. Это неточно. И что приехал в Москву поступать в институт. Говорил он смешно, будто камешки во рту перекатывал. С тех пор он стал жить у нас в большой комнате на диване и стал как брат. Улыбчивый, скромный и очень добрый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.